

УРИВКИ З РОМАНУ АНАТОЛІЯ КУЗНЕЦОВА «БАБИН ЯР»

Дед по какому-то делу пошел было на улицу, но почти тотчас затоптал ногами по крыльцу и ввалился в комнату:

– Поздравляю вас! Ну!.. Завтра в Киеве ни одного жида больше не будет. Видно, правду говорят, что это они Крещатик сожгли. Слава тебе. Господи! Хватит, разжирели на нашей крови, заразы. Пусть теперь едут в свою Палестину, хоть немцы с ними справятся. Вывозят их! Приказ висит.

Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:

Все жидаы города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.

(Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва. Фонд 7021, опись 65, единица хранения 5.)

Ниже следовал этот же текст на украинском языке, еще ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трехэтажная.

Я перечитал ее два раза, и почему-то холодок прошел по коже. Уж очень жестоко, с какой-то холодной ненавистью написано. Да еще день был холодный, ветренный, на улице пустынно. Я не пошел в дом, а взволнованный, сам не зная почему, побрел к базару.

Через три двора от нас – большой двор коллективного огородного хозяйства. Там одна к одной лепились мазанки, сарайчики, коровники, и там жило и работало много евреев, *убогие, темные, такие уж жалкие...* Я заглянул – у них во дворе стояла тихая паника, они метались из халупки в халупку, таскали вещи.

Афишки висели и в других местах. Я останавливался, перечитывал, все равно чего-то не понимая.

Во-первых, если евреев решили вывезти, действительно, в отместку за Крещатик, то при чем здесь все? Может, взрывали какие-нибудь десять человек, а остальные за что должны страдать? Правда, понять можно: немцы не могут выявить поджигателей, и тогда они решили просто вывезти всех. Жестоко, но верно?

Во-вторых, улиц Мельниковской и Дохтуровской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская, – приказ явно сочиняли сами немцы и с плохими переводчиками. Эти улицы действительно возле русского и еврейского кладбищ на Лукьяновке, а поблизости – товарная станция Лукьяновка. Значит, их повезут? *Но куда? Неужели в Палестину, как предполагает дед?*

Но опять это жестоко: выгонять силой тысячи людей из родных мест, везти туда, где у них ни кола, ни двора, а сколько их заболеет и умрет в дороге! И все из-за того, что несколько из них оказались поджигателями?

Это значит, что и Шурка Маца поедет? Но его мать – русская, и она с отцом разошлась, и Шурка давно не знает своего отца, как и я. Значит, Шурку повезут одного? Мать останется, а он поедет? Мне стало жалко его, жалко навсегда с ним расставаться.

И вдруг – неожиданно для самого себя, прямо как-то стихийно – я подумал словами деда, даже с его интонацией и злобой: «А! Ну и что? Вот пусть и едут в свою Палестину. Хватит, разжирели! Здесь Украина, а они, видите ли, расплодились, расселись, как клопы. И Шурка Маца – тоже жид пархатый, хитрый, вредный, сколько книг у меня зажил! Пусть уезжают, без них будет лучше, дед мой умный, дед прав».

Так размышляя, я дошел до Куреневского отделения милиции, где когда-то служил мой батя. Теперь здесь была полиция. В окне они выставили портрет Гитлера. Гитлер смотрел строго, почти зловеще, он был в разукрашенном картузе. И картуз этот был надвинут на самые глаза.

Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище, как вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу.

Они выходили еще затемно, чтобы оказаться пораньше у поезда и занять места. С ревущими детьми, со стариками и больными, плача и переругиваясь, выползло на улицу еврейское население огородного колхоза. Перехваченные веревками узлы, ободранные фанерные чемоданы, заплатанные кошелки, ящички с плотницкими инструментами... Старухи несли, перекинув через шею, как гигантские ожерелья, венки луку – запас провизии на дорогу...

Понимаете, когда всё нормально, всевозможные калеки, больные, старики сидят дома, и их не видно. Но здесь должны были выйти все – и они вышли.

Меня потрясло, как много на свете больных и несчастных людей.

Кроме того, еще одно обстоятельство. Здоровых мужчин мобилизовали в армию, остались одни инвалиды. Кто мог эвакуироваться, у кого были деньги, кто мог уехать с предприятием или используя блат, те уезжали.

[Один куреневский продавец по фамилии Клоцман сумел уехать вместе с семьей, уже когда Киев был окружен. Не знаю, правда ли, но говорят он заплатил баснословные деньги каким-то летчикам, и те погрузили его с вещами в самолет. (И после войны он явился на Куреневку живой и здоровый).]

А осталась в городе самая настоящая шолом-алеихемовская беднота, и вот она выползла на улицы.

«Да зачем же это? – подумал я, сразу начисто забыв свой вчерашний антисемитизм. – Нет, это жестоко, несправедливо, и очень жалко Шурку Мацу; зачем это вдруг его выгоняют, как собаку?! Пусть он книжки заживал, так это потому, что он забывчивый, а я сам – сколько раз его несправедливо лупил?».

В судорожном возбуждении я шнырял от кучки к кучке, прислушивался к разговорам, и чем ближе к Подолу, тем больше людей становилось на улицах. В воротах и подъездах стояли жители, смотрели, вздыхали, *посмеивались или кричали евреям ругательства. Одна злобная старуха в грязном платке вдруг выбежала на мостовую, вырвала у старухи-еврейки чемодан и побежала во двор.*

Еврейка закричала, но в воротах ей заступили дорогу здоровенные усатые мужики. Она рыдала, проклинала, жаловалась, но никто за нее не заступился, и толпа шла мимо, наклоняя головы. Я заглянул в щелку и увидел, что во дворе лежит уже целая куча отнятых вещей.

Краем уха слышал разговоры, что где-то тут извозчик, специально нанятый, вез багаж нескольких семей. Он хлестнул коня и погнал в переулок – и его не догнали. По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа, море голов, шел еврейский Подол. О, этот Подол!... [Этот самый вопиющий район Киева можно было узнать по одному тяжкому воздуху – смеси гнили, дешевого жира и сохнувшего белья. Здесь испокон веков жила еврейская нищета, голь перекатная: сапожники, портные, угольщики, жестянщики, грузчики, шорники, спекулянты, воры... Дворы без зелени, зловонные мусорные ямы, покосившиеся сараи, полные огромных жирных крыс, уборные с выгребами и роями мух, пыльные и грязные улочки, разваливающиеся дома и сырые подвалы – таким был этот галдящий, плодющий и разнесчастный Подол.]

От шума и галдения у меня голова лопалась. Сплошь разговоры: куда повезут, как повезут?

В одной кучке только и слышалось: «Гетто, гетто!». Подошла взволнованная немолодая женщина, вмешалась: «Люди добрые, это смерть!». Старухи заплакали, как запели. Разнесся слух, что где-то тут прошли караимы (я первый раз слышал это слово, оказывается, это такая маленькая семитская народность) – древние старики шли в хламидах до пят, они всю ночь провели в своей караимской синагоге, вышли и проповедовали: «Дети, мы идем на смерть, приготовьтесь. Примем ее мужественно, как принимал Христос».

Кто-то возмущался: как можно так сеять панику! Но уже было известно, что какая-то женщина отравила своих детей и отравилась сама, чтобы не идти. У Оперного театра из окна выбросилась девушка, лежит, накрытая простыней, и никто ее не убирает.

Вдруг все заволновались, заговорили, что впереди, на улице Мельникова, стоит оцепление, туда впускают, а обратно нет.

Тут я испугался. Я устал, у меня гудела голова от всего этого, и я испугался, что не выберусь обратно и меня увезут. Стал проталкиваться против толпы, выбрался, потом долго шел по опустевшим улицам – по ним почти бегом спешили редкие опоздавшие, *из ворот им свистели и улюлюкали вдогонку.*

Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец.

– А ты знаешь, – сказал он потрясенно, – ведь их не вывозят. Их стреляют.

И тут до меня дошло.

Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета: та-та-та, та-та...

Тихая, спокойная, размеренная стрельба, как на учениях. Наш Бабий Яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой, чтобы попасть на кладбища, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг.

Дед выглядел озадаченным и испуганным.

– Может, это стрельбище? – предположил я.

– Какое стрельбище! – жалобно закричал дед. – Вся Куреневка уже говорит, на деревья лазили – видели. Виктор Македон прибежал – жену-еврейку провожал, едва спасся, Мать Божья, Царица Небесная, что же это, да зачем же это их?

Мы пошли в дом, но сидеть там было невозможно. Стрельба, стрельба.

Дед пошел к Македону узнавать, там сидело много народу, и этот парень (он женился перед самой войной) рассказывал, что там смотрят паспорта и бросают их в костер, а он закричал: «Я русский!», тогда от него жену оторвали и повели в Яр, а его полицейский выгнал...

На дворе было холодно, все так же дул пронзительный ветер, как и вчера.

Я все выбегал, прислушивался. Бабка вынесла мне пальто и шапку, слушала сама, заламывала руки, бормоча: «Боже, и бабы там, и деточки маленькие...». Мне показалось, что она плачет. Обернулся – она крестилась, стоя лицом к Бабьему Яру:

– Оченаш, жои си... на небеси...

На ночь стрельба прекратилась, но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные сидят и ждут очереди.

Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал четырнадцатилетний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает ужасы: что там всех раздевают, ставят над рвами по несколько человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих; положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых, так что земля шевелится, и некоторые выползают, *их бьют по голове и, снова запихивают в землю. А его не заметили*, он выполз и прибежал.

– Его надо спрятать! – сказала мама. – В окоп.

– Сынок, – воскликнула бабка, – беги скоренько, покличь его, накормим да сховаем. Я поспешил в огородное хозяйство.

Но было уже поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым коньком, на ней сидел немецкий солдат с кнутом. Другой солдат, с ружьем под мышкой, вел из ворот бледного мальчишку. Собственно, он даже не вел, а они как-то вышли рядом.

Они подошли к телеге, сели на нее с двух сторон, и солдат даже сдвинул сено, чтобы мальчишке было удобнее. Он положил ружье в сено, а мальчишка лег боком, опершись на локоть. Его большие карие глаза спокойно и безразлично скользнули по мне.

Солдат взмахнул кнутом, чмокнул, и телега тронулась – так просто и буднично, словно они поехали на луг косить сено.

Бабы во дворе громко спорили, я подошел и послушал. Одни возмущались, другие возражали:

– Она правильно сделала. Всех их подушить. Это им за Крещатик!

В колхозе жила одинокая женщина-русская, работала скотницей. Мальчишка из Яра прибежал в свою квартиру. Она его увидела, разохалась, выслушала его повесть, поставила на стол кувшин с молоком, велела сидеть тихо, не выходить, чтобы никто не увидел, затем пошла в полицию – и заявила. Да еще, вернувшись, постерегла, пока не приехала подвода с немцами.